

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Что это за книга и зачем она нужна?	9
<i>Глава 1. «Фигура столь грандиозная, что, право, не с кем сравнить ее...» Татьяна Глушкова и ее Леонтьев</i>	<i>13</i>
Борис Акимов о том, как мысль Леонтьева пробивалась сквозь эпохи и собирала вокруг себя лучших	15
Татьяна Глушкова. «Боюсь, как бы история не оправдала меня...»	17
<i>Глава 2. Византизм как путь цветущей сложности, альтернативный путь развития России ...</i>	<i>41</i>
Константин Леонтьев. Византизм и славянство. Фрагменты	43
<i>Глава 3. Национализм — как исток глобализма. Иван Соколовский и его Константин Леонтьев</i>	<i>89</i>
<i>Глава 4. Кризис западной цивилизации</i>	<i>99</i>
Константин Леонтьев. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения Фрагменты	101
<i>Глава 5. «Один из самых блестящих и своеобразных умов в русской литературе». Первый ренессанс Константина Леонтьева</i>	<i>105</i>
Н. А. Бердяев. К. Леонтьев — философ реакционной романтики	108
<i>Глава 6. Своеобразие и свобода vs. Революция</i>	<i>117</i>
Константин Леонтьев. Национальная политика как орудие всемирной революции. Письма к О. И. Фуделю. Фрагменты	119
<i>Глава 7. Леонтьев — как философ русского будущего. Беседа Бориса Акимова с Александром Дугиным</i>	<i>133</i>

<i>Глава 8. Медленная жизнь и опасности</i>	
либерального прогресса	161
Константин Леонтьев. Епископ Никанор о вреде	
железных дорог, пара и вообще об опасностях	
слишком быстрого движения жизни. Фрагменты	163
Константин Леонтьев. О либерализме вообще.	
Фрагменты	171
<i>Глава 9. «Торопиться не надо, время его придет...</i>	
<i>Леонтьев в сфере мышления будет поставлен</i>	
<i>впереди своего века»</i>	<i>177</i>
Борис Акимов. О трагических и одновременно	
воодушевляющих «загогулинах» истории	179
Василий Розанов. Вспоминая и цитируя Сергея	
Булгакова, о своем несостоявшемся учителе	
Леонтьеве	181
<i>Глава 10. Что такое русский путь и каким образом</i>	
<i>Россия может управлять народами, живущими</i>	
<i>в стране?</i>	<i>191</i>
Константин Леонтьев. Наши окраины	193
<i>Глава 11. «В 2062 году Леонтьев будет признан</i>	
<i>главным русским философом»</i>	<i>203</i>
Беседа Бориса Акимова и Олега Степанова	
с Федором Гиренком	205
<i>Глава 12. «Я постичь не могу, за что можно</i>	
<i>любить современного европейца...»</i>	<i>215</i>
Константин Леонтьев. О всемирной любви. На речь	
Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике	217
<i>Послесловие. «Изменяя византизму, мы погубим</i>	
<i>Россию». Егор Холмогоров и его Леонтьев</i>	<i>227</i>
Византизм и русскость. Идеи Константина	
Леонтьева в прошлом, настоящем и будущем	
русской цивилизации	229
<i>Постскриптум. Борис Акимов о воскресшем</i>	
<i>Леонтьеве</i>	<i>285</i>
Об авторах	287

Бог же не есть Бог мертвых,
но живых. Ибо у Него все живы.

Лк. 20: 27–44

Чтобы лучше видеть и объяснить другим,
что выгодно и невыгодно для России,
надо прежде всего дать себе ясный отчет
в том идеале,
который имеешь в виду для своей отчизны.

Константин Леонтьев

Введение

Что это за книга и зачем она нужна?

Здравствуйте! Меня зовут Борис Акимов. Вместе с социальным предпринимателем и мыслителем Олегом Степановым мы придумали проект «Россия 2062». Проект — слово заезженное и не то, которое хотелось бы употреблять, но сейчас без него сложно обходиться. Мы называем это «штабом вольной мысли», представляя себе, в какой стране мы бы хотели жить в будущем. Но не в таком, о котором рассуждают футурологи, а в таком, в котором бы действительно хотелось жить нам самим и куда хотелось бы отправить всех своих близких и друзей. Мы собрали вокруг себя большую компанию теоретиков и практиков такого будущего и начали, не дожидаясь 2062 года, строить умную, привлекательную и обаятельную Россию уже сейчас.

На самом деле мы уже об этом достаточно подробно рассказывали в книге «Россия 2062. Как нам обустроить страну за 40 лет», которая в конце 2022 года вышла

в издательстве «Никея». Но решили не останавливаться и затеяли целую серию. «Русское пространство 2062» — это собрание разных русских авторов, которые когда-то в прошлом создали нечто крайне важное, как нам кажется, недооцененное и сверхактуальное для всех нас сегодняшних.

В нашей реальности «России 2062» границы между живыми и мертвыми размыты. Многие мертвые и до сих пор живее живых. Наша задача в этой книжной серии — оживить и авторов, и тексты.

Особый русский взгляд на мир, русский гуманитарный дискурс и семиотический суверенитет — не просто желаемые нами явления из будущего. Они основываются на глубокой русской мысли, имеют фундаментальную основу. И наша серия должна это деятельно продемонстрировать.

Мы собираемся взять важнейшие, как нам кажется, для поднятой темы фрагменты текстов того или иного автора прошлого и поместить в современность за счет развернутых ответов-комментариев наших современников.

Такой формат — диалоги живых и мертвых — это наша «живая вода», которой мы, образно говоря, окропим тексты тех, кто давно не с нами в материальном смысле, но живее многих живых в смысле духовном и интеллектуальном.

В серии выйдут книги авторов, которые формируют особое пространство русской мысли и представлений о мироустройстве во всех областях нашей жизни — культуре, науке, общественном пространстве.

Русская мысль становится крайне актуальной именно сейчас, так как указывает путь, по которому человечество может уйти от нынешнего катастрофического состояния, — в области экономики, экологии, социальных

институтов, общественного устройства, освоения пространства и в целом развития человеческой культуры и цивилизации.

Вы держите в руках одну из книг серии «Русское пространство 2062» — «Россия — цивилизация цветущей сложности». Она посвящена одному из величайших и одновременно одному из самых недооцененных пока русских философов — Константину Леонтьеву. Константин Николаевич пророчески писал: «Боюсь, как бы история не оправдала меня». Мы видим, как прямо сейчас, на наших глазах Леонтьев и его наследие превращаются в важнейшую для современности и нашего общего будущего ценность. В книгу вошли фрагменты основополагающих текстов философа, выбранных нами достаточно субъективно, а также тексты его и наших современников.

Леонтьев, как и многие другие русские философы, говорил о грядущей особой роли России в мире. Но только он, на наш взгляд, сформулировал эту роль наиболее ярко и точно. Константин Николаевич явно обладал даром предвидения, сравнимым с Достоевским, но при этом в социально-философском смысле даже превзошел великого писателя. Леонтьев сформулировал основополагающий принцип развития цивилизации. От первичной простоты к цветущей сложности и к вторичному упрощению, т. е. к угасанию.

Для Леонтьева основой цветущей сложности было наиболее яркое — на пике возможностей — балансирование любого явления между собственным пространством и содержанием, где пространство всегда существует за счет дисциплины и правил, он сам предпочитал термин «деспотия», а содержание основано на фундаментальных принципах свободы. «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы

этого естественного деспотизма, явление гибнет». Я бы сказал, что так Леонтьев описывает понятие идентичности, социально-философскую эрозию которого мы наблюдаем особенно ярко в последние годы.

Устойчивое развитие человечества основывается на такой цветущей сложности, где есть место для многоголосицы традиционных идентичностей — религиозной, социальной, половой, культурной, национальной, государственной и т. д. Борьба с деспотией формы (с идентичностью), которая вовсю шла уже на глазах Леонтьева, а на наших глазах приняла уже какие-то карикатурные, но от этого еще более катастрофические формы, приводит к однозначному результату. К расчеловечиванию. Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И гений Леонтьева не только в том, что он глубоко осознал и ярко сформулировал это за 150 лет до нас. Основное величие Константина Николаевича в том, что уже тогда он определил рецепт сохранения человека и человечества во всем его многообразии.

И мессианство России, о котором так много писал и Леонтьев, и другие русские философы конца XIX века, как раз и может проявиться в том, чтобы осознанно встать уже в веке XXI на защиту цветущей сложности, а значит, и самого человека и человечества.

Русская идея, которую так долго искали, была всегда рядом с нами, но ее упорно не замечали. И была сформулирована она наиболее точно именно Леонтьевым. Русская идея — это идея цветущей сложности. И Леонтьев — пророк ее.

*Борис Акимов,
«Россия 2062».*

Глава 1

«ФИГУРА СТОЛЬ
ГРАНДИОЗНАЯ, ЧТО,
ПРАВО, НЕ С КЕМ
СРАВНИТЬ ЕЕ...»
ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА
И ЕЕ ЛЕОНТЬЕВ

Борис Акимов

**О том, как мысль Леонтьева
пробивалась сквозь эпохи
и собирала вокруг себя лучших**

Вокруг Леонтьева постоянно находится что-то удивительно интересное и парадоксальное. Вот, например, текст Татьяны Глушковой о Леонтьеве и его сверхактуальности, написанный еще в 1990 году в Советском Союзе и тогда же опубликованный в качестве предисловия к первой книге Леонтьева, изданной в СССР. Книга называлась «Цветущая сложность», и, по сути, она тогда заново открывала Константина Николаевича для русского читателя. Татьяна Глушкова — русский консервативный мыслитель конца 20 века, изучала наследие Леонтьева еще в позднее советское время. Тогда российское общество, казалось, попало под магические чары западного либерализма и было почти тотально очаровано джинсами, колой и демократией. А та часть, которая не очаровалась миром потребительского капитализма, демонстративно ностальгировала по коммунизму. И только единицы тогда сохранили способность независимого суждения,

основанного на глубоком понимании сути мировой цивилизации и русского особого пути. Среди таких немногих и Татьяна Глушкова, поэтесса, филолог и публицист. Ее текст, написанный более 30 лет назад, сверхсовременен, и это еще одно доказательство того, что нет ничего более живого и устремленного в будущее, чем глубокая творческая и хорошо сформулированная мысль.

Татьяна Глушкова

«Боюсь, как бы история не оправдала меня...»

Нет явления более сложного,
чем К. Леонтьев.

Н. Бердяев

...В душе его было окно, откуда открывалась бесконечность.

Его имя в обществе если и известно, то понаслышке, а не по чтению.

В. Розанов

Если выписать все самые афористические высказывания о Константине Леонтьеве последующих русских мыслителей (не пошедших, однако, вослед ему), предстанет фигура столь грандиозная, что, право, не с кем сравнить ее. Нечто богоподобное проступит в ней. А слово «гениальность», постоянно мелькающее в применении к ней, покажется даже слишком лирическим, «частным», камерным. Ибо он, похоже, не просто гениален: ведь и среди гениев есть свои масштабы — так, гениальный Есенин, к примеру, не равен в гении Пушкину. ВЕЛИКИЙ ЛЕОНТЬЕВ — напрашивается тут. И приходят на память слова о «титанах по силе мысли, страсти и характеру», только леонтьевская мысль далека от ренессансного оптимистического, победно-практического пафоса: в ней точится — при всех прочих свойствах — среднерусская грусть (калужский помещик из деревни Кудиново, обедневший,

бессребренный, бездомный — не стены, а крылья одевают, укрывают, согревают его), и, созданная для власти и славы, властной всемирной славы, эта мысль из любви к красоте человечества сама себе не желает победы, скорбит над возможностью — неотвратимостью — своей правоты. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи бы то ни было убедительные доводы доказали мне, что я заблуждаюсь», — говорил этот не признанный современниками триумфатор.

«Диктатор без диктатуры»; «блестящий ум... Блестящий и парадоксальный...»; «политический Торквемада»; «необычайно оригинален, самобытен и смел»; «идейный консерватор»; «бунтарь люциферического (!) Ренессанса»; «чистая жемчужина, в своей Оптиной Пустыни, как на дне моря»; «явление христианина-эстета и романтика, жестокого и мрачного»; «ум Леонтьева — скажу, гений его — был какой-то особенный»; «русско-православный Жозеф де Местр»; «ницшеанец до Ницше», «русский Ницше» и даже — «plus Nietzsche que Nietzsche mete»; «турецкий игумен»; «Сулейман в куколе»; «Алкивиад» («Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, в сравнении с этим калужским помещиком, который был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов»); «националист»; «разочарованный славянофил»; «яростный апологет крепостного права во всех его проявлениях и проповедник «сладострастного культа палки»; «великий освободитель»; «реакционнейший из всех русских писателей второй половины XIX столетия»; «выбиватель стекол»; «Кромвель без меча... в лачуге за городом, в лохмотьях нищего, но точный, в полном росте Кромвель»; «неузнанный феномен»; «прошел великий муж по Руси...»; «он залил бы

Европу огнями и кровью»; «изумительно чистое сердце»; «доходит до апологии доноса и совета высечь Веру Засулич»; «он был какою-то бурей...»; «чародей», «чарующее впечатление...»; «Мальштрем... ревущий водоворот в Ледовитом океане»; «один из величайших и оригинальнейших выразителей самобытной русской культурной мысли, вопиявший в пустыне»; «нерусский художник»; «мы имели перед собой черного-черного монаха, в куколе до облаков, с посохом в версту, который дико и свирепо начал дубасить этим посохом по голове либерала»; «открыт чистейшим лучам верховных идеалов»; «империалист»; «Великий Инквизитор» (прообраз героя Достоевского); «киевский бурсак Хома, на котором сидела чародейка-красавица»; «безумный романтик»; «Старый, как Сатурн...»; «новый человек, модернист, несмотря на свое реакционерство»; «Иаков, который боролся с Богом в ночи и охромел, ибо Бог, не могши его побороть, напоследок повредил ему „жилу в составе бедра“»; «сильный богоборец»; «*феномен*, а не *сила*... *fata morgana* Мальштрема, а не *он* в действительности»; «демонист»; «мракобесец»; «язычник»; «католик по духу»; «одинокая и единственная в своем роде душа», «великий ум и великий темперамент»...

И, пожалуй, все это (сказанное о Леонтьеве в основном после смерти его) уместается во впечатлении В. В. Розанова (вообще ярче всех писавшего о нем): «С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в „мать-кормилицу, широкую степь“, во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или голову положить, или царский венец взять... я по всему циклу его идей, да и по темпераменту, по границам безбрежного отрицания и безгранично далеких утверждений (чаяний) увидел, что это человек пустыни, конь без узды, — и невольно потянулись с ним речи, как у „братьев-разбойников“ за костром».

И хотя выписанным далеко не исчерпывается все — неизменно интригующее, фантастическое по стилю, — что сказано о Константине Леонтьеве в России и зарубежье, вырастает из этой, *типичной*, мозаики восхищения и гнева, изумления и «священного ужаса», вырастает нечто мистическое, головокружительное... Воистину: не человек — ЛЕГЕНДА. Человек, подобный не только людям уникальным, издавна знаменитым во всемирной истории, от Алкивиада до Кромвеля, от библейских героев до столпов европейского духа, но подобный самим могучим явлениям природы — от Мальштрема до аравийской пустыни и русско-азиатской степи.

«Не одна во поле дороженька пролегала» — эти слова народной песни могут служить (заметим) своего рода эпиграфом к «безгранично далеким утверждениям (чаяниям)» К. Леонтьева относительно судьбы России, ее особого, не «всеевропейского» по природным задаткам пути, — до тех, впрочем, пор, пока сохранялись у него эти чаяния, богоборческая вера в возможность исторического выбора для родной, любимой страны. Пока не отступил он — «в изнеможении страдальческого раздумья» — в свой трагический фатализм, в котором уж не было места русскому мессианству, ибо «зарос», одичал желанный путь, и в «этих липовых аллеях, этих березовых рощах, этих столетних огромных вязах над прудом» примерщился ему, «старому монаху и медику», даже и образ антихриста, рожденного в России. «Русское общество... помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути... и — кто знает? — ...и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр... родим антихриста», — написал он тогда «с трепетом пророческого страха за свою дорогую родину».

Но кто все-таки прав, где правда в тех контрастных, полярных высказываниях о Леонтьеве—мыслителе, что были приведены? Чему должен верить читатель?

Все — правы. Всему можно верить, понимая, однако же, все это как предварительный материал, который читателю предстоит самому проверить. Ибо яркое разноречье суждений или множество противоречивых правд есть свидетельство все же *не выработанной* истины, зато как возбуждает в нас собственную, непредвзятую мысль!

Может быть, истину о Леонтьеве мы не выработаем и сегодня: слишком остросовременен он нынче, в наш день. Современней (*доступней*), чем сто лет тому, при всей утрате в России классической образованности. Часто — увидим мы — он даже и попросту злободневен: «злоба» нынешнего национального, демократического, государственного дня поразительным образом вскипает на его каленое, «пернатое» перо.

Окончательной истины он, кстати сказать, и не любил. Как и «окончательной гармонии», ее «последнего слова». Ибо та и другая — страшна. Как страшен *конец*. За которым уж нет времен, нет движения мысли, нет народов.

И, быть может, ища, вырабатывая свое мнение о Константине Леонтьеве, мы увидим лишь, как, прогибаясь, удаляется горизонт, мы вернемся к той же «необозримо широкой» тургеневской степи, что уходит в «бесконечную даль», мы увидим все то же огромное, «низкое, багровое солнце». А какова истина степи? (Пустыни? Бури? Мальштрема?..) Она, эта степь, сама — истина.

Так самоценна и леонтьевская мысль, сам вдохновенный процесс, явление этой мысли. Ее великая простота. Вечная дерзость. Безбрежная свобода.

И пока ясно одно: перед ним, *преждевременным* Константином Леонтьевым, и после его смерти стояли как перед

великой загадкой. Как перед «беззаконной кометой», беззаконной даже и для позднейшей русской философии — ее относительно тоже «расчисленного круга светил». И вольно нынешней «Литературной газете» по-школьному хронологизировать: «В истории русской мысли Леонтьев — связующее звено между П. Я. Чаадаевым и В. В. Розановым». Это подобно тому, как считать... Пушкина «связующим звеном» между Державиным и Лермонтовым. Ибо Леонтьев не только масштабней своих предшественников и потомков, но, «беззаконный» (как тот, у Пушкина, «ветер» и «орел»), не мог никого связывать, быть переходом, мостом. Не имея наследников даже среди — в общем, немногих — восхищенных поклонников, он — прав В. В. Розанов! — «по существу... не имел предшественников».

Мы найдем лишь отдельные сходные черты между ним и «отцами» — будь то Чаадаев, или Герцен, или славянофилы. Сходные, а не общие (ибо общим тут было всерьез, пожалуй, одно: общая их страстная любовь к России). И даже если говорить о «замечательном», по слову Леонтьева, Н. Я. Данилевском, *учителе* его, «который в своей книге «Россия и Европа» сделал такой великий шаг на пути русской науки и русского самосознания, обосновавши так твердо и ясно теорию смены культурных типов в истории человечества», — даже если говорить о Н. Я. Данилевском, то Леонтьев не только относится к нему, пожалуй, как колос к драгоценному, отборно-семенному зерну, но и резко расходится с ним по столь важному и особенно дорогому тому вопросу, как вопрос о внероссийском, невеликоросском славянстве. Он расходится с ним *в пространстве*, в этнографической вере, размыкая чисто племенные, семейно-славянские границы, простирая взыскующий союза, культурного, духовного союза взор на малоазиатский юг, в Северную

и Центральную Азию, на «желтый» Восток, уповая — как позднее А. Блок — *скинуться азиатом*, указуя «Европе пригожей» то примерно, что зыбится в «Скифах»:

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

.....

И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!..

Славянин, великоросс (как не однажды подчеркивал сам, видя в великороссах духовное ядро славянства), он считал перспективным строить новый, сменяющий дряхлое, мощный культурный тип из любого, какой не поддавался эрозии, материала: из родимого камня, что «бел-горюч», белого лебеда-камня среднерусской гряды; из бирюзы Босфора; из горных тибетских пород; из жемчужных раковин Индийского океана; из порфира и мрамора вокруг православного Эгейского моря...

Так — привольно — построен был и собственный его дух. (Отчего и правы едва ли не все несогласные меж собою его толкователи.) На создание этого духа и впрямь потратились разные века, разные страны. Вдруг явив под Калугой древнего грека, средневекового ересиарха, рыцаря-феодала готических времен. Словно вправду некий Мельмот-скиталец, в историческом странном метемпсихозе, оказался однажды, зимой 1831 года, подвешенным к потолку бани в селе Кудинове, завернутый в заячью шкурку.

Эта заячья шкурка, о которой рассказывал он (так выгребали тогда семимесячных, слабых младенцев), — тоже мета, «тотем», знаменующий его дух: Лес и Степь с нею тихо вошли, безбрежные, в ту слепую, волшебную, деревенско-дворянскую, простодушно-целебную баньку.

«Это вовсе не пустяки; это очень важно!» — замечал он по поводу столь *малосложного*, крайне уже *буржуазного* костюма эпохи, с ее «безобразным кепи», выморочным «фрачно-сюртучным» стилем. «...Внешние формы быта, одежды, обычаи, моды... все эти внешние формы, говорю я, вовсе не причуда, не вздор... это *неизбежные пластические символы идеалов*, внутри нас созревших или готовых созреть...» — подчеркивал он и, когда уж оставил дипломатическую службу, постоянно носил, «отрясая романо-германский прах», хорошо сшитую русскую поддевку, которая не мешала его «благородной и красивой барственности» и была сообразна его «русскому сердцу».

«Мое русское сердце», — не раз говорил он, сознавая, хотя б и в славянском котле Балкан, где столько лет прожил, свою родовую особенность, несливающуюся окрашенность своих идеалов и чувств. Он, кому внятно было все: и «острый галльский смысл, // И сумрачный германский гений...» («Дух Леонтьева не знал, так сказать, внутренних задвижек...» — утверждал Розанов), — отнюдь не был, однако, «гражданином мира» в современном, пустом значении слова. Не был и многоликим Протеем, ибо при всем «разноцветном» богатстве обладал нерушимым единством личности. Был в нем — за всей многогранностью черт и «свободных», далеких друг другу возможностей — некий магнитный стержень, что «притягивал», заставляя держаться вместе, не отлетать, помнить свою орбиту, все эти камни и грани.

«Форма, — говорил он, — *есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться*. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет».

Это, согласно Леонтьеву, закон всякого явления, имеющего самобытие. Его признаки, как бы их ни было

много, не смеют разбегаться, растекаться, смывая границы оформленного единства, полного своей внутренней идеей, отграниченного от других самобытных явлений или текучих, аморфных сред.

«Растительная и животная морфология, — продолжал К. Леонтьев, — есть наука о том, как оливка *не смеет* стать дубом, как дуб *не смеет* стать пальмой и т. д.» — при всей щедрости природных сил, отпущенных на их создание.

Какова же внутренняя идея личности Константина Леонтьева, обеспечивающая ему и духовное разнообразие, и устойчивое единство его духа? И в чем — соответственно этому — состоит общий пафос его *феноменального* творчества?

Этот вопрос проясняется при погружении в его философию, его историософию, в ту практическую политику, которую он разрабатывал для России в своих статьях. Но этот вопрос в таком строгом виде его, пожалуй, даже и не ставился многочисленными оппонентами Леонтьева, которые упирались, как правило, в ту или иную грань его духа, не стремясь ни деспотически увязать эти грани, ни заметить их беспрестанную вольную игру на свету меняющейся жизни и как раз во имя удержания общей целостности.

Он любил слова «деспотизм», «стеснение», «дисциплина», «организация», «суровые узы», «ограничительность», «сдерживание» и даже — «железная рукавица»... Слова, столь далекие лексикону популярной в его (да и в наше) время *свободы*. Любил, а точнее — не страшился их, обобщая их даже в совсем уже «мрачном» понятии *византизма*, вполне одиозном для его *просвещенного* века. *Византизм* воплощал у него некий идеал структуры, *организации*, иерархии и расслоения, неумолимого неравенства положений при всеобщей связанности, соподчиненности множества разнородных частей.